

Мемуары Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» (от замысла — к рукописи, от издания — к читателю)

Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу...

Илья Эренбург¹

Том второй (1934–1945)

Второй том мемуаров Ильи Эренбурга содержит воспоминания о наиболее близком для нас и едва ли не самом значимом, как принято теперь считать, событии XX века: Второй мировой войне (некоторые ее реальные участники живы до сих пор). Но эту эпоху предваряют предшествовавшие ей: победа Гитлера на выборах в Германии в 1933-м, гражданская война в Испании (1936–1939) и кровавые сталинские репрессии второй половины 1930-х годов. Второй том, однако, открывается рассказом о поначалу казавшихся вполне многообещающими Первом съезде советских писателей (1934) и Антифашистском международном конгрессе писателей (1935).

Книга четвертая

Над четвертой книгой мемуаров Эренбург работал всю вторую половину 1961 года. По первоначальному авторскому плану четвертая книга посвящалась событиям 1934–1939 годов и должна была завершиться рассказом о поражении Испанской республики. В целом же именно испанским событиям, активным участником и свидетелем которых был Эренбург, предстояло стать главной частью четвертой книги мемуаров. Испанские главы Эренбург предварительно давал прочесть другим участникам и свидетелям войны в Испании – генералу армии П.И. Батову, кинооператору Р.Л. Кармену, писателю, адъютанту командира 12-й интербригады А.В. Эйсеру; и, конечно, вся рукопись была тщательнейше прочтена

¹ Из стихотворения «Люди, годы, жизнь» (1964).

ближайшим другом автора О.Г. Савичем – корреспондентом «Комсомольской правды» и ТАСС на испанской войне.

Разумеется, Эренбург знал об испанской войне куда больше, чем написал. Но, понимая абсолютную цензурную непроходимость рассказов, скажем, о бесчинствах агентов НКВД, получивших в Испании право безнаказанно расправляться со всеми противниками Сталина не только в рядах интербригад, но и среди испанских левых, он мог упоминать об НКВД лишь глухими намеками или в личных признаниях: «Кто знает, как мы были одиноки в те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой особенно крепко сжимали руки друзей – мы ведь все были участниками великого заговора молчания»¹.

Столь же сложным было и то, что Эренбург собирался впервые рассказать о пережитом им в Москве за те пять месяцев 1938 года, когда он дожидался разрешения вернуться в Испанию. Работа Эренбурга над главами о том периоде советской истории, что принято называть периодом массовых репрессий (в свое время в народе его наивно прозвали «ежовщиной»), удачно пришлась на пору XXII съезда КПСС, сообщившего советскому обществу мощный антисталинский импульс. Поэтому, когда в конце 1961 года писатель передал в редакцию «Нового мира» рукопись четвертой книги (31 глава), она сравнительно легко прошла и редакционную цензуру, и Главлит. Фактически было сделано всего две купюры – убрали сцену на даче у Горького, где члены Политбюро ругали Эренбурга за его роман «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца», и десяток строк о расстрелянном в 1939-м Антонове-Овсеенко².

Книга была принята редакцией и назначена к публикации на весну 1962 года, а Эренбург сразу же приступил к работе над пятой книгой, посвященной событиям Второй мировой войны. В марте 1962 года первые шесть глав пятой книги (о событиях февраля 1939 – июня 1941 года) были написаны и автор, решив изменить первоначальный план мемуаров,

¹ См. наст. том. Кн. 4. Гл. 31.

² Ряд цензурных купюр в мемуарах Эренбурга опубликован нами помимо книжного издания в номере «Независимой газеты» за 29 января 1991 г.

отправил их Твардовскому. Эренбург предлагал напечатать написанное начало пятой книги в качестве конца четвертой, с тем чтобы пятую книгу открыть нападением Германии на СССР 22 июня 1941 года. Дело, понятно, не в том, что он вдруг отдал предпочтение канонической советской периодизации исторических событий. Уже рассказав о времени, которое Эренбург вспоминал с отвращением, и подойдя к не менее тяжким событиям лета 1941 года, писатель безусловно ощутил, что они имеют для него совершенно иную психологическую окраску (свою работу в годы Отечественной войны у писателя было полное право вспоминать с гордостью). Возможно, имели место и соображения совсем иного рода – отделив повествование о Великой Отечественной войне от предшествовавших ей и закрытых для общественного обсуждения событий 1939–1940 годов, Эренбург облегчал прохождение через цензуру рукописи следующей, пятой, книги.

5 апреля 1962 года, когда начало четвертой книги уже было набрано для апрельского номера журнала, Твардовский написал Эренбургу: «Дорогой Илья Григорьевич! Я виноват перед Вами: до сей поры, за множеством дел и случаев, не собрался написать Вам по поводу “пятой части” и оставил на рукописи по прочтении лишь немые, может быть, не всегда понятные пометки. Вероятно, поэтому Вы и не приняли некоторые из них во внимание. А между тем я считаю их весьма существенными и серьезными. Речь ведь идет не о той или иной оценке Вами того или иного явления искусства, как, скажем, было в отношении Пастернака и др., а о целом периоде исторической и политической жизни страны во всей его сложности. Здесь уж “каждое лыко в строку”. Повторяю мое давнее обещание не “редактировать” Вас, не учить Вас уму-разуму, – я этого и теперь не собираюсь делать. Я лишь указываю на те точки зрения, которые не только не совпадают с взглядами и пониманием вещей редакцией “Нового мира”, но с которыми мы решительно не можем обратиться к читателям.

Перехожу к этим “точкам” не по степени их важности, а в порядке следования страниц»¹.

¹ Почта Ильи Эренбурга. 1916–1967 / Издание подготовлено Б.Ф. Фрезинским. М.: Аграф, 2006. С. 490–494; далее ПЗ и номера писем.

И далее следовал перечень замечаний, так или иначе связанных с темой советско-германского пакта 1939 года, о секретных протоколах к которому тогда в СССР знали совсем немногие.

Вот некоторые из категорических возражений главного редактора:

«Концовка главы. Смысл: война — непосредственное следствие пакта СССР с Германией. Мы не можем встать на такую точку зрения. Пакт был заключен в целях предотвращения войны. “Хоть с чертом”, как говорил Ленин, только бы в интересах мира».

Или:

«Сотрудники советского посольства, приветствующие гитлеровцев в Париже. “Львов” <резидент ГБ в Париже. – Б.Ф.>, посылающий икру Абетцу <гитлеровскому резиденту в Париже. – Б.Ф.>. Мне неприятно, Илья Григорьевич, доказывать очевиднейшую бестактность и недопустимость этой “исторической детали”».

Или:

«“Немцам нужны были советская нефть и многое другое”... Это излишнее натяжение в объяснение того частного факта, который и без того объяснен Вами».

Или:

«“Свадебное настроение” в Москве в 40 г.? Это, простите, неправда. Это было уже после маленькой, но кровавой войны в Финляндии, в пору всенародно тревожного предчувствия. Нельзя же тогдашний тон газет и радиопередач принимать за “свадебное настроение” общества».

Или:

«Услышанные где-то от кого-то слова насчет “людей некоторой национальности” представляются для той поры явным анахронизмом».

Или:

«То, что Вы говорите о Фадееве здесь, как и в другом случае – ниже, для меня настолько несовместимо с моим представлением о Фадееве, что я попросту не могу этого допустить на страницах нашего журнала. Повод, конечно, чисто личный, но редактор – тоже человек».

Или:

«Фраза насчет собак в момент телефонного звонка от Сталина, согласитесь, весьма нехороша. Заодно замечу, что для огромного количества читателей Ваши собаки, возникающие там-сям в изложении, мешают его

серьезности. Собаки (комнатные) в представлении народном – признак барства, и это предубеждение так глубоко, что, по-моему, не следовало бы его “эпатировать».

И т.д.

Письмо Твардовского кончалось недвусмысленно:

«Может быть, я не все перечислил, что-нибудь осталось вне перечня. И среди перечисленных есть вещи большей и меньшей важности. Но в целом – это пожелания, в обязательности которых мы убеждены, исходя не из нашего редакторского произвола или каприза, а из соображений прямой необходимости.

Будьте великодушны, Илья Григорьевич, просмотрите еще раз эту часть рукописи».

Эренбург ответил на это 10 апреля 1962-го: «...Некоторые из Ваших замечаний меня удивили. Я знаю Ваше доброе отношение ко мне и очень ценю, что Вы печатаете мою книгу, хотя со многим из того, что есть в ее тексте, Вы не согласны. Знаю я и о Ваших трудностях. Поэтому, несмотря на то, что Вы пишете, что изложенные Вами “пожелания, в обязательности которых мы убеждены”, я все же рассматриваю эти пожелания не как ультимативные и потому стараюсь найти выход, приемлемый как для Вас, так и для меня»¹. Далее следовал перечень пятнадцати уступок с припиской: «Поверьте, что я с моей стороны с болью пошел на те купюры и изменения, которые сделал. Я могу в свою очередь сказать, что в “обязательности” оставшегося убежден. Ведь если редакция отвечает за автора, то и автор отвечает за свой текст. Я верю, что Вы по-старому дружески отнесетесь и к этому письму, и к проделанной мной работе». На этом исправления текста были завершены»².

В итоге все 37 глав четвертой книги были благополучно напечатаны в 4–6 номерах «Нового мира» за 1962 год.

Главу о венгерском писателе Мате Залке, воевавшем и погибшем в Испании под именем генерала Лукача, Эренбург напечатал предварительно в «Правде»; в архиве писателя сохранилась также верстка из

¹ *Эренбург И.* На цоколе истории: Письма 1931–1967. / Издание подготовлено Б.Я. Фрезинским. М.: Аграф, 2004. С. 520–525. Далее П2 и номера писем.

² Авторский текст был впервые восстановлен в бесцензурном издании мемуаров Эренбурга в 1990 г.

«Иностранной литературы» 23-й главы под названием «Эрнест Хемингуэй», однако ее публикацию из номера сняли.

В критических обзорах о четвертой книге «Люди, годы, жизнь» появились благожелательные упоминания; в их ряду стоит отметить слова М.М. Кузнецова: «Это весьма своеобразное художественное произведение, основной стержень которого – размышление о прошлом и настоящем, раздумье над историей для понимания сущности человека завтрашнего дня. Это – мемуарный роман нового, современного типа <...> Перед нами роман, претендующий на то, чтобы дать портрет века. Судеб искусства и гуманизма...»¹

Читали мемуары Эренбурга и русские политические эмигранты за рубежом; читали, подчас очень приблизительно понимая содержание тогдашних политических процессов в СССР. У старой, еще дореволюционной части политической эмиграции были давние счеты с Эренбургом (давным-давно ими зачисленным в «советские писатели»). Конечно, их тоже интересовали перемены в СССР, о градусе которых, как они считали, можно будет судить по тому, что позволит себе написать в мемуарах Илья Эренбург. Были надежды, что эти перемены окажутся значительными, а из того, что реально ему позволили, стало ясно: перемены во взглядах на недавнее прошлое весьма робкие. Вот как 17 мая 1962-го Б. Вулих писал Б.И. Николаевскому: «Читали ли Вы воспоминания Эренбурга? Плоскость потрясающая, но все-таки любопытно, с точки зрения что “позволено” теперь писать... Хочется надеяться, что подготовляются глубокие изменения. Но как все это медленно идет!»²

Что касается высказываний русской литературной эмиграции, то спектр суждений ее был куда более широким. Приведу текст, которым Н. Берберова закончила свои знаменитые мемуары «Курсив мой», писавшиеся как раз в ту же пору (1960–66 годы), что и «Люди, годы, жизнь». Их издали в России уже после распада СССР, но мне повезло ознакомиться с этим текстом, переписанным для меня от руки

¹ Кузнецов М. Человечность! О тенденциях современной прозы // В мире книг. 1963. № 1. С. 22–23.

² Благодарю Дж. Рубинштейна, приславшего мне ксерокопию этого письма, хранящегося в фонде Николаевского в Гуверовском центре (США).

И.М. Наппельбаум¹, раньше. Ей, своей давней подруге, автор «Курсива» подарила русскоязычное американское, тогда для нас крамольное, издание в первый же (после бегства в 1922-м в Берлин вместе с В.Ф. Ходасевичем) проезд в Ленинград...

Вот как в «Курсиве» Берберова пишет о книге мемуаров Эренбурга: «В ней старый писатель, которого я когда-то знала, рассказывает о себе, о людях и годах... Но какой страшной была его жизнь! И как связан он в своих умолчаниях, и как я свободна в своих! Вот именно свободна не только в том, что я могу сказать, но свободна в том, о чем хочу молчать. Но я не могу оторваться от его страниц, для меня его книга значит больше, чем все остальные за сорок лет. Я знаю, что большинство его читателей судят его². Но я не сужу его. Я благодарна ему. Я благодарю его за каждое его слово. Он строит силлогизм. Помните, в юности мы учили:

Человек смертен.

Кай – человек.

Он строит силлогизм, но не дает третьей строчки. Но он дает две первых, и от нас зависит проснуться и крикнуть наконец вывод. Его осуждают, что он остановился перед выводом:

Кай – смертен.

Но разве вывод не заключен в предпосылках? К чему все наше думанье, если мы не слышим вывода в предпосылках?

Проблема страдания невинных – старая проблема. <...>Но я хочу говорить не о страдании, я хочу говорить о сознании... Страдание невинных может быть оправдано, осмыслено только одним: если оно приведет

¹ Ида Моисеевна Наппельбаум (1900–1992) – поэтесса, мемуаристка, ученица Гумилева, занимавшаяся в его студии.

² Характерна в этом смысле запись в дневнике А.К. Гладкова, следующая за упоминанием о встречах с И.И. и М.Л. Слонимскими, В.Н. Орловым, Л.В. Никулиным: «1. 03. 67. Почти у всех недружелюбие к И.Г. Эренбургу. И трудно с этим спорить. Да – Иосиф Флавий он в чем-то. Недаром он так не любит Фейхтвангера» (Новый мир. 2015. № 5). Замечу, что Эренбург вообще мало с кем делился тем, какие именно политические препоны воздвигались и редакцией журнала, и Главлитом на пути его мемуаров к читателям; думаю, что и с А.К. Гладковым он это никогда не обсуждал.

к сознанию. Эренбург говорит о казни миллионов невинных (из которых сотни были казнены Сталиным из личной мести). Огромная часть их, умирая, славословила палача, славословила его режим и в последнюю минуту “желала здравствовать” и ему, и режиму... Пока замученный тираном кричит тирану “ура!”, и зритель, окружающий виселицу, вторит ему, и историк превозносит содеянное – нет спасения. Только в пробуждении сознания – ответ на все, что было, и только один из всех – Эренбург, – невнятно мыча и кивая в ту сторону, указывает нам (и будущим поколениям) дорогу, где это сознание лежит. Как смеем мы требовать от него большего? Упрекать его за то, что он уцелел? Вычитывать между строк его книги его особое мнение? Или отвергать его за то, что он дает нам полуправду? Наше дело осознать правду целиком, сделать вывод. Достроить его силлогизм. Иначе все жертвы – бессмысленны... Я читаю его книгу, и смущение находит на меня: жалость к этому знаменитому человеку, другу глав государств, мировых ученых, писателей, гениальных художников нашего столетия. Жалость к старому человеку, составившемуся у меня на глазах – от первого тома к шестому, пока я читала его книгу. Жалость и благодарность. Он повернул нас всех в ту сторону, где лежит третья строка силлогизма»¹.

Тут к месту будет сказать о том, что в феврале 1965 года Эренбургу написал из Дрездена (тогда – ГДР) старый немецкий коммунист, после прихода к власти Гитлера бежавший в СССР и работавший там в Коминтерне, а в конце 1930-х загремевший в ГУЛАГ, откуда ему все-таки посчастливилось выйти живым. В ГУЛАГе он познакомился с одним куда менее счастливым советским узником, который, под именем Лоти, участвовал в испанской войне – о нем Эренбург написал в 21-й главе четвертой книги мемуаров. Немецкое письмо начиналось с предупреждения: «Советский товарищ подарил мне Вашу книгу “Люди, годы, жизнь”. Купить ее у нас в ГДР ни на русском, ни на немецком нельзя. Вы знаете, что в ФРГ книга переведена, продается и читается, но почта не пропускает вышедших там книг. Я пишу Вам, чтобы поблагодарить за книгу. Много, слишком много имен, которые Вы с болью называете, я знаю, встречал, многих знал хорошо в Германии, в СССР, в эмиграции.

¹ Берберова Н. Курсив мой: автобиография. М.: Согласие, 1996. С. 602–604.

И в лагере» (ПЗ, № 460). Фактически это было сообщение о том, что начальство ГДР, никогда не забывавшее Эренбургу его антифашистскую публицистику, использовало нападки Хрущева на его мемуары, чтобы мотивировать их запрещение в ГДР. Что и говорить, геббельсовская антиэренбурговская пропаганда прочно сидела в головах старых немцев, независимо от их политической ориентации¹. Думаю об этом и вспоминаю тогдашнюю кампанию в ФРГ, направленную против Хельмута Киндлера, издавшего немецкий перевод «Люди, годы, жизнь». Я слышал выступление Киндлера на выставке 1997-го в Карлсхорсте, посвященной Эренбургу (за участие в этой выставке меня пригласили на ее открытие). Киндлеру уже было 85, и последние годы он жил в Цюрихе. Выступая, он заговорил о яростной кампании, которую в 1960-е годы развернули против него лично неонацисты и союзы бывших эсэсовцев ФРГ. И не смог сдержат волнения... (Подробнее см.: Ф4, с. 703–711).

Но вернемся к дальнейшей издательской судьбе четвертой книги; она оказалась отнюдь не легкой.

Казалось, что в 1962 году антисталинские настроения мало-помалу продолжали набирать силу; но именно с момента публикации в «Новом мире» повести «Один день Ивана Денисовича» пошла энергичная фронтальная контратака просталинских сил партократии, которой удалось очень быстро повернуть события вспять. Уже в декабре 1962 года состоялось спровоцированное чиновниками от искусства скандальное посещение Хрущевым выставки живописи и скульптуры в Манеже и последовавшие за этим массовые выступления прессы против неортодоксального искусства.

В этой кампании Эренбургу была уготована роль идейного вдохновителя крамольных художников. 29 января 1963 года в московском выпуске газеты «Известия» напечатали большую статью В. Ермилова «Необходимость спора. Читая мемуары И. Эренбурга “Люди, годы, жизнь”», в которой наряду с привычными обвинениями мемуариста в пропаганде модернистского искусства впервые высказывались и прямые политические

¹ Об устойчивости влияния на немцев геббельсовской пропаганды Эренбург подробно пишет в третьей главе пятой книги своих мемуаров.

обвинения¹. Речь шла о сталинских репрессиях; используя слова Эренбурга о том, что он и тогда понимал абсурдность массовых арестов, но вынужден был об этом молчать, Ермилов демагогически противопоставил писателю рядовых граждан, которые искренне верили Сталину. 1 февраля 1963 года Эренбург ответил на инсинуации письмом в редакцию «Известий». Оно было напечатано пять дней спустя вместе с еще более наглым ответом критика и осуждением писателя «от редакции» под общим заголовком «Не надо замалчивать существо спора». Еще десять дней спустя «Известия», не упомянув об огромной почте в защиту Эренбурга, напечатали несколько писем читателей, его осудивших. Эти публикации открыли всесоюзную антиэренбурговскую кампанию, достигнувшую пика в марте 1963 года, когда в нее включились Ильичев и Хрущев лично.

Столь мощные атаки не могли не сказаться на издательской судьбе четвертой книги мемуаров. Печатание набранных и одобренных Главлитом третьей и четвертой книг было задержано; издательство «Советский писатель» потребовало от автора серьезных изменений обнародованного текста. Произошло это уже после личной встречи Эренбурга с Хрущевым 3 августа 1963 года, и писателю удалось отстоять свой текст; от него потребовали покаянного предисловия, но он написал лишь следующее: «Моя книга “Люди, годы, жизнь” вызвала много споров и критических замечаний. В связи с этим мне хочется еще раз подчеркнуть, что эта книга – рассказ о моей жизни, об исканиях, заблуждениях и находках одного человека.

¹ Редактор «Известий» (органа Президиума Верховного Совета), зять Н.С. Хрущева А.И. Аджубей утверждал впоследствии, что статья Ермилова поступила в газету по личному указанию тогдашнего председателя Президиума Верховного Совета Л.И. Брежнева и потому ее нельзя было не напечатать (см. его интервью газете «Молодежь Эстонии» 6 мая 1989 г. – соответствующий вопрос ему был задан в связи с тем, что в мемуарах «Те десять лет» Аджубей написал об этом куда неопределеннее: «С годами давление на Хрущева разного рода советников “по культурным вопросам” усиливалось, он часто становился раздражительным, необъективным. В пору, когда я работал в “Известиях”, мы не раз испытывали бессилие, пытаясь дать свою оценку тому или иному произведению. Так случилось и с книгой И. Эренбурга “Люди, годы, жизнь”. Публикация критической статьи В.В. Ермилова по поводу воспоминаний Эренбурга была предопределена без нас» (Знамя. 1988. № 7. С. 100). Отметим также запись 31 января 1963 г. тогдашнего члена редколлегии «Нового мира» В.Я. Лакшина (со слов ответственного секретаря журнала М.Н. Хитрова): «На Эренбурга долго натравливали Ермилова. Посылали статью на просмотр Ильичеву. Словом, дело это сугубо запланированное и централизованное» (*Лакшин В.* Новый мир во времена Хрущева: дневник и попутное (1953–1964). М.: Книжная палата, 1991. С. 101).

Она, разумеется, крайне субъективна, и я никак не претендую дать историю эпохи или хотя бы историю узкого круга советской интеллигенции. Я писал о людях, с которыми меня сталкивала судьба, о книгах и картинах, которые сыграли роль в моей жизни. Есть много больших художников и писателей, о которых я не написал, потому что не знал их лично или знал недостаточно. Эта книга – не летопись, а скорее исповедь, и я верю, что читатели правильно ее поймут»¹. Не удовлетворенное этими словами, издательство поместило перед ними заметку «От издательства», в которой предупреждало читателей об «ошибках» Эренбурга; в таком виде книга вышла из печати в самом начале 1964 года.

В 1965 году Эренбург, имея в виду объявленную еще в 1962 году в программе его юбилейного девятитомного собрания сочинений публикацию мемуаров, написал три новые главы для четвертой книги «Люди, годы, жизнь» – о М.Е. Кольцове, О.Г. Савиче и Н.И. Бухарине.

Главу о еще не реабилитированном Бухарине Эренбург не стал даже предлагать издательству (ее поместили в первом посмертном и фактически бесцензурном его собрании сочинений в 8-ми томах в 2000 году). Отношения Эренбурга с М. Кольцовым (реабилитированным еще в 1954-м) не были близкими, и многое в противоречивой фигуре этого знаменитого советского журналиста было Эренбургу неясно; в журнальном варианте мемуаров Кольцову было отведено лишь два абзаца главы о советских гражданах, воевавших в Испании. А.К. Гладков вспоминал о том, как писались главы мемуаров Эренбурга: «Он жадно хватался за все новые факты, всплывавшие из небытия истории, которые могли помочь найти искомое, но ускользавшее объяснение. О Михаиле Кольцове, например, Илья Григорьевич рассказывал интереснее, чем писал, но и Кольцов не был для него достаточно ясной и понятной фигурой... И когда в печати появились воспоминания брата М. Кольцова, художника Б. Ефимова, он был взволнован ими, трижды перечитал (как он сам мне сказал) и все время возвращался к ним в разговоре»². Глава о Кольцове по существу написана под впечатлением мемуаров его брата. Эренбург включил ее в испанскую часть четвертой книги мемуаров.

¹ *Эренбург И.* Люди, годы, жизнь: книги третья и четвертая. М., 1963. С. 9.

² Воспоминания об Илье Эренбурге. М., 1975. С. 269.